

Владимир Фёдорович Одоевский

Княжна Зизи



Владимир Одоевский
Княжна Зизи

«Public Domain»

1839

Одоевский В. Ф.

Княжна Зизи / В. Ф. Одоевский — «Public Domain», 1839

"Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком! Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи..."

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. Комментарии	14
--	----

Владимир Федорович Одоевский

Княжна Зизи

Посв. Е. А. Сухозанет

Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг – для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?..

Слова женщины.

– Откуда ты?

– С биржи.

– Ну, что?

– Каждый день выше!

– Тем лучше.

– Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.

– Теряешь?

– О, да что с тобой толковать? ты не поймешь меня...

– Однако ж...

– Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю в моей тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.

– Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..

– О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С этими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенеблей-индустриалистов, бросился в кресла, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

– У тебя сегодня сплин? – спросил я его.

– Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

– Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржей. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

– Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

– Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии?..

– Как же! И про них толковали в журналах, что они обличают во мне решительное направление к элегическому роду...

– В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

– Я и теперь от этого не отказываюсь.

– Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток – давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного?

Мой промышленник встал.

– Некогда мне теперь об этом толковать, – сказал он, – прощай; мне надобно навеститься у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

– погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; обедай у меня – и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь...

– А! понимаю, зачем тебе хочется остановить меня: у тебя требуют повести – *et le baron s'embarrasse*¹; в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтанье.

– Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

– Хорошо, я тебя потешу, буду сентиментальничать; но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом деле сделался гораздо нежнее. Вино – великое дело; это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает нам открывать под холодным, насмешливым человеком – другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино – мы будем хуже китайцев и американцев.

– Да, я был влюблен, – сказал наконец мой рассказчик, – то есть влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобно для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново – и улицы, и дома, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскою грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха, – словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие края; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было княжна Зизи. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, господа сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом имени было что-то особенное, но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя. Вот тебе разговор о ней:

– Княжна Зизи выходит замуж, – сказала одна из моих кузин.

– За кого?

– За какого-то деревенского помещика.

– Очень бы хорошо сделала, – заметила тетушка.

– А жаль! преумная девушка, – заметил кто-то.

– Большая чудиха, – заметила одна дама.

– Настоящая христианка.

– Большая ханжа, притворщица.

– Премилая...

– Прегордая...

¹ И барон смущается (*франц.*).

– Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц, – проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготавливавшегося в дипломаты.

– И, помилуйте! – отвечала другая с видимым злобным умыслом, – кто на ней и захочет жениться? разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

– Извините, она очень богата.

– Все, батюшка, буки – и пропасть долгов.

– Я вас могу уверить, – сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, синему партнеру, – что княжна никогда не выйдет замуж.

– Почему же?

– На это есть важные причины, – отвечал чиновник, понизив голос.

– Скажите мне, сделайте милость, – наконец обратился я к тетушке, – что это за княжна Зизи?

– Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

– Помню, – высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

– Княжна в самом деле имеет большие странности в характере: например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду – по театрам, по балам, то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала; потом завела пренегодный процесс с своим зятем; то хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете, – вообще в ней очень много странного. Прошлою зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала – даже у меня не была... В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка – однако ж имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелую девою, вскормленною романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки, то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудаком. В этих размышлениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

– Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи, – сказала мне Марья Ивановна тихим голосом, – я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно пространную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С сими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою:

– Я храню эти письма как нечто святое, – сказал он, подавая мне одно из них.

– Нумер первый, – продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно, – а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

«Москва, 4 февр. 18...»

Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы – голубой с белыми полосками для Лидии, и пунцовый для меня; по нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька, по обыкновению, рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы Бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина, да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта^[1], весь „Вестник Европы“. Мне наконец удалось достать „Клариссу“ из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока, – хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит, – такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских номеров журналов, – где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: продолжение впрямь; терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы ходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится – говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухою скучно, – и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь развеселить маменьку; но как это сделать – он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь – хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться – она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, Бога ради, ко мне: по крайнем мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная Зизи.

Р. S. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дождайся, поедет он в нашу пустыню!..»

– Нумер второй, – сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.

«Москва. Февраля 15-го.

Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала, – уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков – премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый человек! Сам Бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее – дай-то Бог! На радости маменька поехала с нами в город². Ах, как там весело! Пропасть народа, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют *satın turque*³; ее делают двуличневою – прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»

– Во всем этом письме, – сказал я моему приятелю, – дело идет о тряпках; что тут интересного? Да и, признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал: вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толка своих дочерей, а дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

– Нумер третий, – хладнокровно проговорил мой приятель.

«Москва, Апреля 3-го.

Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме, – да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но постой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он, – и маменька посылает наведываться о его здоровье. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезонин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: маменька воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне – книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и, верно, он и не помышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень скучно сидеть на мезонине, особливо когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый, – всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине,

² Так называется гостинный двор в Москве. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

³ Турецкий атлас (*франц.*).

но боюсь, чтоб он не счел меня педанткой, – да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, что говорят внизу. И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее; я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет мама. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку: я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя, может быть Жуковского – какой это должен быть человек!.. А между тем я все сижу на мезонине! прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице
Зизи».

– Нумер четвертый.

«Маша, участь моя решилась: я... влюблена, Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если б ты видела его – ты бы поняла меня. Он соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его – огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя са– мой, я готова бежать за ним на край света, – и я не могу его видеть. Целый день я как пришта к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу – и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно, и голова кругом – нет сил больше. Когда он уедет, я сбегая вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их, – а тут мученье; Лидия, холодная Лидия, рассказывает, что он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он равнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, что сказал доктор. Его безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня на сердце, и перед сестрою и перед маменькою!.. Иногда, я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид – язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удается; он до сих пор еще не объяснился: я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей
Зизи!»

– Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу – ты понимаешь, что все кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею. Это было вчера: я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором. Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой – гроб, надежда – смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна как лед; ей выйти замуж – как выпить стакан воды; она по-прежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь как шальная,

отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется – вот пройдет, вот исчезнет; я силюсь проснуться – тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет; она не понимает своего счастья... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать долее: слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадет; но, может быть, этот человек был недостойн ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностью... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня, – говорила она, – с ранних лет больше вникать в людей, строже ценить их; словом, я была старше Зизи не только летами, но и жизнью».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою приятельницу – дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь, – говорила старуха, оставшись одна с Зинаидой, – что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с имением управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б Бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, Богу так не угодно – да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем, – она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить кого. Но повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее сердце вкрадывалось чувство самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шутивого нрава, обращался с Лидией без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаидой же – со всеми возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна,

она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрощался с ними, сказав, что должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего не содержали для нее нового. Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что Бог даровал Лидии дочь: вчера, около полудня, она разрешилась от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковьею, в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом. Что сказать тебе об мне? Горячка прошла; я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне, – это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от него мое чувство – нестерпимо; одно мое утешение – молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание, и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов, – с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашивать меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания, ей и нужды до того нет – даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадется. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо он большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах: он отдает мне отчет в управлении общего нашего имения; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет, – ей ни до чего нет дела, – и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я – боюсь вымолвить – жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою уединенную келью и бросаюсь в холодную постелью... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастью благородного, честного человека – способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву, принесенную его счастью, на жертву чистую, бескорыстную – и эта мысль возвышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполнину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей; иногда в забвении мне кажется, что на меня возложено звание матери, что я могу ему сказать „наш ребенок“. О, тогда мое сердце бьется сильно, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя

самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... его младенца. Что со мною сделалось в эту минуту – рассказать нет сил; это было – и невыразимая скорбь и невыразимая радость, и ад и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и – растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительно; я упала без чувств; когда очнулась, все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

...историю о странствиях аббата Лапорта... – Лапорт Франсис (1812–1880) – французский естествоиспытатель. Изучал фауну и собрал обширные коллекции в Америке, Азии и Австралии.